

О, не тоскуйте мне о нем

Современный писатель в зеркале самооценки

Писателю нынешнему живется плохо, потому что он писатель и не писать, естественно, не может. А ему мало того, что платят сущие гроши, — еще куда-то, как назло, пропал читатель, от самого понятия «писатель» в его изначальном для отечественной литературы величии ничего, почитай, и не осталось, и читать литературу никто не хочет, и в писатели разве что с большого горя подаются. И вообще — всюду царит разброд, раздрай, растерянность, а само слово «свобода» вызывает, боже сохрани, не радость, а у кого горькие раздумья, у кого оскомину, у кого глубокую тоску либо злость. Когда Ю. Кублановский в статье «Закрытая книга» («Труд-7», 2002, 30 мая) советует, в целях самосохранения, отказаться от чтения современной литературы, а Вл. Новиков в «Алексии: десять лет спустя» («Новый мир», 2002, № 10) столь же яростно пеняет писателям за их упрямое нежелание читать, — это отнюдь не внутрицеховой спор. Это сигнал бедствия, раздающийся из пропасти, куда угодила значительная часть нынешней литературы.

Вспоминается в этой связи цикл рассказов С. Довлатова под заглавием «Компромисс». По-моему, они способны кое в чем прояснить и сегодняшнюю литературную ситуацию. Говорилось в них о том, что же на самом деле происходило в живой, а не придуманной жизни, в то время как советская пресса — главным образом газета «Советская Эстония» — то радостно, то взволнованно, то романтично, но всякий раз бодро трубила о чем-то светлом и возвышенном. Вот эстонская доярка рапортует Леониду Ильичу о надоенном ею «рекордном числе молока», а на самом-то деле эта доярка и писать никуда, естественно, не думала, и, что самое интересное, письмо ее пишется руками журналистов уже *после* того, как от Леонида Ильича получен ответ. В жизни же приехавшие в село журналисты пьют напропалую, ибо от этой беспардонной лжи на душе у них столь же беспросветная муть. Или — трогательная газетная история о родившемся в Таллине младенце, который, согласно предъюбилейной газетной установке, должен был оказаться ровно 400-тысячным жителем города. Рассказчика-журналиста присылают с командировкой в роддом, но — вот неувязка — рождающиеся крохи, все как один, оказываются «непубликабельными». То у одного из них отец негр, то у другого — еврей. А отец наконец-то подходящего ребенка оказывается обыкновенным российским пьяницей, с которым рассказчик опять же с горечью пьет. Тут и тоска от очевидного, воистину всеобъемлющего вранья, и сознание полнейшего бессилия с ним справиться. Словом, рассказы эти — о нестыковке советских штампов и реальной жизни, ни в какие заранее разграфленные клеточки не укладывающейся.

Но советских штампов нет. Вообразите, что сегодняшний писатель не только оказался на этапе крутого исторического виража, но и наедине остался с той самой некрасивой, неловкой жизнью, что интересна была только в столкновении с трафаретом. Уберем-ка трафарет. Жизнь выпячивается, лезет во все стороны, ни в какие романские рамки укладываться упрямо не желает, и — как же не хватает порой, оказывается, этого трафарета! И как сложно становится жить писателю!

О чем он частенько и пишет, преисполнившись горькой обиды на оказавшуюся такой несправедливой жизнь. Я даже подозреваю, что всяческие истории о нескладной жизни ученых, журналистов и прочего творческого люда в генезисе своем восходят к собственной писательской, крайне трудной нынче жизни. И даже не то что трудной, а уж больно непонятной. Какой-то изломанной, треснувшей, расползшейся по всем швам. (Но примем к сведению и тот немаловажный факт, что на горькие застойные годы пришлась молодость немало числа нынешних писателей. А кому же неизвестно, что быть молодым и полным сил явно лучше, чем пожилым и нередко силы

(«Будни гарема»), или деревушка Удеревка (чувствуете горькую соль названия?), куда удирают от меркантильного мира братья-писатели, не вписавшиеся в него, или знаменитое питерское Комарово, некогда теплая обитель творческих личностей всех мастей, а ныне не только место отдохновения «новых русских», но и прибежище тех, кто себя не нашел? Удирать-то герой В. Попова, конечно, удирает, да только такой груз проблем за ним тащится, что хоть за океан беги, хоть в «очаровательное захолустье», — никуда от них не деться. Проблемы, в принципе, все те же, и крутятся они вокруг того же непонятного, что происходит на свете, но выход-то отсюда какой? А бог его знает. Тошно сегодняшнему герою В. Попова. Нарядил его писатель в почти что клоунские одежды, называл Валерием Георгиевичем Поповым, сделал *бывшим* известным писателем — и пустил странствовать по свету. Гуляй, мол, друг, ибо среда (четверг, пятница) тебя заела. Оно бы, наверное, было и понятно, и близко всем, кто тоже с трудом находит себя (если находит) в перевернувшемся с ног на голову мире, да вот беда — кокетничать что-то стал герой В. Попова. Я, дескать, очаровательно неприспособлен к воцарившейся повсюду грубой и меркантильной действительности, я остался там, в добром старом времени (в повестях выведено множество друзей героя, устраивающих на лоне природы, хоть в океанских просторах, очаровательные попойки), я столь бестолков, неловок, непрактичен... Если это авторская позиция — то, думаю, несколько все же ограниченная.

Так что немалая часть произведений на рассматриваемую тему подводит к мысли, что проклятое застойное время, столь горькое и страшное для многих писателей, все-таки для немалой части интеллигенции было истинным звездным часом. То была как бы своеобразная *соборность*, вполне, разумеется, заемная, дающая и уют, и сладостное ощущение единения, содружества, общности. Я, конечно, говорю не о тех, довольно немногочисленных, литераторах говорю, что готовы были заплатить любую цену за возможность писать то, что они считали нужным. Да что там «заплатить»: жизнь отдать. И не о творцах «секретарской» литературы, которые и сейчас поживают неплохо, ибо читатель ее никуда не делся: стоит только взглянуть на тиражи какого-нибудь «Вечного зова», который только наивная, прекраснодушная интеллигенция с радостью списывала в обоз. Рано веселились, господа...

Я о той массе литераторов, которые, уйдя от антикоммунистического идеала, никуда, в сущности, не пришли и до крайности растерялись. Ибо свобода, как известно, есть немалое бремя, и не каждому она по душе. За свободой стоит не уютная соборность, а одиночество. Вот отсюда-то, из горького этого ощущения опустошенности и растерянности, и идет этот вселенский плач о собственной бедности. Отсюда — и намеки на какую-то возвышенность размышлений, доступную якобы избранным. Отсюда же — и плохо сдерживаемые рыдания о нынешнем злосчастном времени, когда (всхлип) пенсионеры голодают, когда (новый всхлип) настоящая литература никому не нужна, когда (тут уж слезы льются рекой) разрушилась вековая литературоцентричность российского общества. Все вроде бы абсолютно верно, и все действительно горько. С одной только поправкой, что для подобных размышлений, а стало быть, рыданий в этих произведениях писателей о писателях, соли земли русской, оснований не то чтобы много. Насчет же благополучных прежних времен картина вырисовывается относительно ясная: кто ж не знает, что противостояние власти политической, даже крайне жестокой, есть все-таки более легкое дело, нежели противостояние всепоглощающей власти денег. Власти масс-культы.

Вот с чем мы столкнулись лоб в лоб, вот к чему не знаем как и подступиться.

К тому же возжеланный интеллигенцией демократизм, за который немало людей заплатили жизнь, бывал и бывает поверхностным. Тогда расплачиваться за него жизнью не надо. Тогда он обернуться может и внутренней пустотой, и скудостью

«загадочности» писателя, которая настойчиво педалируется в повести, есть что-то глубоко провинциальное — провинциальное в духовном, конечно, отношении. Но дело даже не в этом. В сущности, никакой любовной истории в повести нет, — герои ее просто очень долго и монотонно ходят друг к другу в гости, так что где-то с середины повесть сильно пробуксовывает. В голову приходит злосудная мысль: а не для своей ли собственной жены сочинил автор эту милую сказочку? Ну это так, в сторону. Для оживления этой полудохлой истории Дм. Каралис и придумывает неожиданный ход. Герой повести начинает воображать, будто его оставшаяся в Петербурге жена ведет себя не самым достойным образом, вместо того чтобы смиренно ждать своего благоверного. Оснований для подозрений у него решительно никаких нет, но надо же повествование как-то оживить! Мне же этот «оживляж» сильно напомнил совсем небольшой рассказ А. Аверченко под заглавием «Петухов», герой которого, всю флиртуя с некоей легкомысленной и легкодоступной дамой, все перипетии своих с ней отношений переносит на свою недоумевающую и ни в чем не повинную жену. Но у А. Аверченко — непритязательный короткий рассказ, легкий и веселый, а тут намеки на нечто возвышенное, роскошный антураж, угрюмая, чисто совковая серьезность, а главное — все так длинно, длинно, длинно...

Так что хоть тоска по упавшему статусу, хоть вселенский плач о собственной бедности, хоть пресыщенность всем на свете — все едино. Все мелко. Все узко, приземленно, бескрыло. Не для русской литературы это. Тем более в такие, как нынче, времена.

* * *

Вот почему неверно ставить тут точку. Не потому только, что означенными произведениями вовсе не исчерпывается литература о литераторах, а потому, что перед нами литература, затронувшая самый верхний слой каких-то очень сложных проблем. Ведь все-таки не хороним мы отечественную беллетристику, как хоронят писатели в повести М. Кураева «Тихие беззлые похороны» прозу одного из своих братьев. Они там, собственно, хоронят даже не прозу, а свое прежнее общественное положение, а возможно, и бывшее вдохновение свое, и бывшее содружество. Все это ушло, как им кажется, навсегда (хотя мероприятие, на котором они сошлись, автор называет несколько иронично — «За выживание и развитие»). Однако же против этого выступает там одно — сама по себе неоднозначная проза М. Кураева.

И хотя никто не будет спорить, что времена нынче для литераторов настали не лучшие (единодушные самых разных авторов этих рассказов и повестей — лишнее тому подтверждение), все это тоньше, глубже, сложнее. Вдобавок ко всему сказанному произведения эти губит отсутствие в них индивидуальности того творца, о ком ведется речь. Отсутствие того неповторимого, что делает писателя не фигуркой-значком, а настоящей творческой личностью. Писателя «вообще», а уж тем паче знаменитого, не существует. Разве что из-под авторского пера выходит что-то серенькое, бесцветное, аморфное, едва ли способное вызвать понимание, а уж тем более сочувствие к его нелегкой судьбе. Или — что-то уж чересчур головное. Попытка создать писателя «вообще», писателя без текстов когда-то сгубила небездарное «Ермо» Ю. Буйды. Попробуйте-ка создать нечто среднеарифметическое между, скажем, Т. Манном, В. Набоковым или Г. Беллем — что-то выйдет!

В превосходном «мемуарном романе» «Авансцена» Леонид Зорин, размышляя над своей удачливой жизнью в литературе (сорок пьес!), не то что не думает почивать на лаврах — он снова и снова всматривается во многие жизненные перипетии, в своим успехи, в свои неудачи, снова и снова вдумывается в корни всего этого, равно как и в